

ДИСКУССИЯ

Кром М. М. (Санкт-Петербург, Россия). Я с интересом прочитал статью В. Г. Ананьеву, в которой продолжается обсуждение важной проблемы, удачно сформулированной — применительно к России XVI в. — в очерке А. И. Филюшкина о дискурсах Ливонской войны (2001). Полезным мне кажется и сравнительное изучение политических культур двух соседних держав — Московского царства и Речи Посполитой. Однако используемая В. Г. Ананьевым концептуальная рамка и некоторые выводы, к которым он приходит, вызывают у меня желание поспорить с автором.

Начну с самого понятия «политическая культура», которое В. Г. Ананьев заимствует у известных политологов Г. Алмонда и С. Вербы. Некоторые термины, предложенные этими учеными, — например, «парохиальная культура» и «культура подданства» — представляются мне полезными (я использую их в своей статье, на которую ссылается В. Г. Ананьев), так как они помогают осмысливать различные стадии формирования политики как особой сферы человеческой деятельности. Важно уже само представление политики как исторически изменчивого феномена, не всегда существовавшего в привычных нам сегодня формах. Но, взятая в целом, эта политологическая концепция малопригодна для описания обществ Средневековья и начала Нового времени: для этого она слишком телесологична, слишком явно берет за образец современное гражданское общество.

Возможно, поэтому историки, начиная с 80-х гг. XX века, все чаще наполняли концепт «политической культуры» иным смыслом, более близким к антропологии, чем к политологии. Так, Линн Хант в книге о политической культуре Французской революции (1984) определила интересующее нас понятие как «ценности, ожидания и неявные правила, выражавшие и определявшие коллективные намерения и действия»¹. На мой взгляд, такое «антропологическое» понимание политической культуры открывает перед исследователем обществ раннего Нового времени гораздо более широкие перспективы, чем теория Алмонда и Вербы, ориентированная на изучение современности.

Применение на практике к историческому материалу упрощенной политологической модели политической культуры приводит В. Г. Ананьеву, на мой взгляд, к ошибочному выводу, будто Речь Посполитая и Московия в описываемую эпоху находились на разных стадиях развития: первая обладала уже гражданской (или активистской) политической культурой, а вторая довольствовалась лишь культурой подданства.

На этом примере видно, сколь недостаточна разработанная Алмондом и Вербой типология для описания политических культур XVI–XVII вв. — вот и приходится В. Г. Ананьеву искусственно «подтягивать» шляхетскую «демократию» к уровню гражданского общества Новейшего времени. Между тем термин «гражданская политическая культура» неприменим к Речи Посполитой уже хотя бы потому, что это было типичное сословное общество, в котором гражданский принцип равноправия был абсолютно немыслим. И то, что голосами шляхты на сеймах и сеймиках манипулировали могущественные магнаты, также не было секретом для современников.

¹ Hunt L. Politics, Culture, and Class in the French Revolution. University of California Press: Berkeley; Los Angeles, 1984. P. 10.

С другой стороны, было бы неверным полностью игнорировать опыт московских соборов XVI–XVII вв. и тем более — «Совета всей земли» эпохи Смуты. Сколь бы далекой ни казалась деятельность этих органов от идеалов парламентской демократии (но и английский парламент начала XVII в. был очень далек от нынешней британской избирательной системы!), они являли собой важные формы политической активности влиятельной части населения, выходившие за рамки традиционной культуры подданства.

Наконец, серьезные сомнения у меня вызывает и основной тезис автора обсуждаемой статьи — будто языки политической культуры Речи Посполитой и России были настолько различны, что их носители не понимали друг друга: подлинная коммуникация между ними была невозможна. Между тем Б. Н. Флоря убедительно, на мой взгляд, показал, что русские дворяне были неплохо осведомлены о социально-политическом устройстве соседней державы. С. Маскевич записал беседы с русскими детьми боярскими в период польской оккупации Москвы: когда поляки расхваливали свои «вольности», их русские собеседники возражали: «Ваша вольность для вас хороша, а наша неволя для нас. У вас более могущественный угнетает более худого; вольно ему взять у более худого имение и его самого убить». В Московии же царь, по их представлениям, мог защитить бедного сына боярского от самого богатого боярина².

Конечно, между политическими культурами польского и русского дворянства имелись очень большие отличия, но было бы большой ошибкой, на мой взгляд, рассматривать эти различия в «вертикальной» плоскости — как высшую и низшую стадии развития политической культуры (к чему подталкивает исследователя эволюционистская модель Алмонда и Вербы). Известно, что аристократия Речи Посполитой свысока, как на варваров, посматривала на «московитов». А те, в свою очередь, называли «варварами» крымских татар. Вот только стоит ли современному исследователю принимать подобные культурные стереотипы за истину в последней инстанции?

Коммуникация, на мой взгляд, не обязательно предполагает согласие сторон: споры и взаимная критика также являются формой коммуникации. Культурные контакты между Россией, с одной стороны, Литвой, а затем Речью Посполитой — с другой, были настолько интенсивны и продолжительны в течение XVI–XVII веков, что их политические культуры не могли не соприкасаться. Разнообразные формы такого взаимопроникновения культур нам еще предстоит изучить.

Вырский Д. С. (Киев, Украина). Статью В. Г. Ананьева можно охарактеризовать и как «испорченный телефон историографии». Она оставила по себе довольно грустное впечатление, прежде всего потому, что автор попытался снова пойти легким путем и заложить замок на песке. Ведь источниками для его умозаключений почти исключительно служат не оригинальные первоисточники по интересующей теме, а информация, почерпнутая из современной историографии (т. е. из вторых-третьих рук). Поэтому за ультрасовременными «биодобавками» историографической эрудиции автора как-то уже не чувствуешь вкуса основного блюда, а «трудности перевода» с «исторического» и с «историографического» (что не одно и то же) неоправданно смешиваются.

² Цит. по: Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 306. — Другие примеры знания в верхах русского общества особенностей социального устройства Речи Посполитой см.: Там же. С. 380. Примеч. 1.

Риторическая конструкция нарратива, вышедшего из-под пера В. Г. Ананьева, на мой скромный взгляд, есть довольно заурядная вариация на тему «меняться, чтобы оставаться неизменным». В конце концов мы опять понимаем, что Ахиллу черепаху не догнать и «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», как бы близко они ни сближались. Исключения («казус Владислава»), традиционно, объявлены лишь подтверждением правила.

Для получения такого тривиального вывода Ананьев, как-то умалчивая о марксистских первоисточниках, обнаруживает весьма спорную несходность экономического «базиса» Речи Посполитой и Московского царства (первая — уже почти «буржуазная» страна, которая и думать забыла о «феодализме», вторая — заповедник последнего). Дальше, переходя к «надстройке», автор почему-то посчитал, что «дипломатические переговоры, вообще, возможно — наиболее яркий пример процесса коммуникации», хотя «искусственность» этой сферы «коммуникации» общеизвестна. Дипломаты спокойно могли использовать традиционные процедуры с практически любым визави (будь это хоть «песиголовцы»); другое дело, что дипломатическая документация XVI–XVII вв. сохранена и исследована лучше других комплексов источников, и в «ситечко» историка оттуда насобирались всякого.

Для наблюдений за политической культурой Речи Посполитой и Московского царства (так обильно, до «несягодности», пересыпаных современным политологическим сленгом) автору явно не хватает контекстов, не связанных непосредственно с двумя этими государствами. Ведь эта навязчивая «бинарная оппозиция» политического опыта (Русь/Польша) отнюдь не единственно возможная.

Весьма подозрительным выглядит и тезис, «что главным орудием завоевания» Речи Посполитой был «польский язык». Уж очень это попахивает выводом о будущей аналогичной цивилизационной роли «великого и могучего» на «одной шестой части суши». Замечу, что фактов сознательного ограничения государством функционирования непольских языков в Речи Посполитой история не знает, а как язык элиты польский делил пальму первенства с латынью.

Если же говорить конкретно о руском-русинском языке, то он входил в корпус областных и корпоративных привилегий и как таковой отстаивался местной элитой (и даже не русинами) с понятной настойчивостью — изменение его статуса стало бы прецедентом для пересмотра любой другой локальной привилегии или целого их корпуса вообще. На Волыни известен случай, когда местный князь «в сердцах» распорядился утопить посланника, который привез официальное королевское письмо по-польски, а не по-руско-русински. Хорошо, князь был «отходчив», и до летального исхода не дошло.

Уже навязло в зубах более чем поверхностное понимание «сарматского мифа», притом еще замешанное на самых поздних его вариантах, совсем нетипичных для рубежа XVI–XVII вв. Для этого периода сарматизм — это вообще чуть ли не знамя объединения всех «сарматов», в ряды которых (на упомянутый период это практические догма) включались и русские-московиты. Гетман Станислав Жолкевский, вообще, с его критицизмом по отношению к силовым решениям Сигизмунда III, вполне может претендовать на звание «паладина» справедливого всесарматского объединения поляков, русских и т. д. Понимаю, про «сарматов»-украинцев, белорусов, литовцев, немцев-пруссаков, молдаван, а в некоторых версиях — еще и чехов, венгров и балканских славян и, может быть, даже татар российскому историку слышать не доводилось,

поскольку и ни к чему ему это. Жаль также, что Ананьев никак не зафиксировал явление сарматизма-«москвофильства» на землях Речи Посполитой (один Павел Пясецкий чего стоит, по которому поляки должны поучиться сарматским обычаям у московитов и татар, сохранивших их в более «исконных» вариантах).

Якубский В. А. (*Санкт-Петербург, Россия*). Не знаю, как отреагирует В. Г. Ананьев на язвительный отклик киевского коллеги. Замечания, на мой взгляд, вполне дельные и в основном справедливые, спорить с ними трудно. Разве что явным полемическим переходом выглядит упрек Д. Вырского в адрес марксизма. Чего ради основоположник учения должен нести ответственность за то, что Виталий Геннадьевич Ананьев построил свою статью на материале, односторонне подобранным из разных исторических сочинений?

Что касается самой обсуждаемой статьи, то сказал бы, что ее автор — очередная жертва увлечения новомодной терминологией. Своей увлеченности он и не скрывает, настоятельно втолковывая читателю, что «в расширенном, семиотическом понимании весь исторический процесс как таковой также есть процесс коммуникации, процесс, в котором все новая и новая поступающая информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны адресата», и т. д. Автор тут и далее, уже перейдя к основной своей проблеме — соотношению политических культур России и Речи Посполитой на грани XVI–XVII веков, излагает идеи, мягко говоря, не самые свежие и убедительные. Но в ультрасовременной терминологической упаковке они обретают, очевидно, особый шарм и кажутся ему привлекательными.

Используемое Ананьевым понятие политической культуры, утвердившееся в социологии и оттуда шагнувшее в историографию, не слишком, как показано М. М. Кромом, подходит к польско-российским реалиям XVI–XVII веков. Впрочем, семантические тонкости мало влияют на решение вопроса о том, отделяла ли Речь Посполитую от России непроницаемая стена взаимонепонимания, в подножии которой лежали различия чуть ли не формационного уровня.

В. Г. Ананьев утверждает, что стена эта существовала. При этом его статья построена на очень шатких основаниях — в этом его оппонент, безусловно, прав. Д. Вырский придерживается противоположной точки зрения и приводит веские аргументы. Но значит ли, что тема закрыта?

Критик или не заметил, или не придал значения такой детали, как присутствие в статье Ананьева, когда речь заходит о глубоком различии между социальными системами Речи Посполитой и России, кавычек и соответствующей отсылки к источнику информации. То есть пассаж о расстановке сил в Ливонской войне, где «державы с нарождающимися буржуазными отношениями, в которых экономический фактор становился детерминирующим в политике, сталкивались с государствами, исповедующими чисто феодальную систему понятий и ценностей. Поэтому они часто не понимали мотивов действий друг друга, приписывали свои мотивы поступков чужим странам», — это цитата. Она принадлежит А. И. Филюшкину, а не автору статьи.

Присутствующее в цитате противопоставление не представляется таким уж бесспорным. Не берусь соизмерять степень зрелости зародившей буржуазного потенциала в странах региона. Но пока, насколько известно, все еще не приведены достаточно веские доводы в пользу существования тесной причинно-следственной связи («поэтому...»)

между уровнями развития социально-экономических отношений, с одной стороны, и недоразумениями на политическом поприще — с другой. Вообще вывод Александра Ильича, пожалуй, прямо не вытекает из содержания его исследования, являя собой скорее рабочую гипотезу, которая несколько шире возможностей, предоставляемых проанализированным в работе материалом.

Вдохновляясь формулой А. И. Филюшкина, автор статьи, надо подчеркнуть, интерпретировал ее на свой лад. В. Г. Ананьеву уже мало констатации частных случаев непонимания одной стороной мотивов, какими руководствовалась сторона противная. Он вводит такое непонимание в абсолют, усмотрев его первопричину в социально-экономических различиях между Речью Посполитой и Россией. Но ведь в цитируемом им исследовании как раз убедительно показано, что, к примеру, Ливонская война вспыхнула в 1558 г. в первую очередь потому, что русские политики недооценили готовность поляков любой ценой не допустить внедрения Московии в Прибалтику. Этот промах русской дипломатии сам исследователь не связывал непосредственно с различиями в экономике двух стран. Немаловажно и то, что, противопоставив державы с затачками буржуазных отношений государствам, ориентированным на чисто феодальные ценности, А. И. Филюшкин, однако, не стал разносить страны региона по этим двум рубрикам. Это уж В. Г. Ананьев безоговорочно — и, думаю, бездоказательно — записал Речь Посполитую в лагерь прогресса, а России отвел место в ряду стран, никак не затронутых новыми веяниями, и одновременно фактически пришел к заключению о полной невозможности в таких условиях взаимопонимания между тогдашними поляками и русскими.

Д. Вырским показана уязвимость такой постановки вопроса. Не повторяя его аргументации, затрону лишь один момент.

Конечно, противопоставление России Польше выглядит эффектно. Но не достигается ли внешний эффект во многом за счет пренебрежения внутренней неоднородностью обоих объектов? Не уверен, насколько в контексте рассматриваемой проблемы можно подходить к России, как к монолиту. Применительно к Речи Посполитой Обоих Народов подобный подход пригоден еще меньше. Достаточно вспомнить судьбу Украины, которая полвека спустя, убедившись в невозможности достичь понимания с Варшавой, решительно сменит свою политическую ориентацию. Не менее показательно и то, что очень скоро после воссоединения проявят себя и глубокое взаимонепонимание с единоверной Москвой, которое заставит того же Богдана Хмельницкого подумывать о подыскании других партнеров. Едва ли эти казусы можно тоже списать на различия в социально-экономической сфере.

Слиж Н. В. (Гродно, Беларусь). Данная статья представляет собой достаточно интересное наблюдение отношений Речи Посполитой и Московского царства с точки зрения политических культур, хотя, мне кажется, тут надо больше говорить о Великом княжестве Литовском и Московском княжестве, а позже — царстве. Политология, по сути, мало используется при характеристике дипломатических отношений. При этом следует отметить недостаточную источниковедческую базу статьи при характеристике политической культуры Великого княжества Литовского. С. Ореховский (*Orzechowski*) был далеко не единственным мыслителем, который высказывался о политическом строе государства. Ренессансные идеи достаточно глубоко проникли в политическую культуру

туру Великого княжества и получили дальнейшее свое развитие в позднейший период. Они носили светский характер. Мыслители обращались к таким аспектам, как государство, усовершенствование правления государством, моральный облик монарха, патриотизм и др.³

Представление автора, что коммуникации двух государств мешало только их культурное различие, значительно сужает проблему. Выпадает из внимания глубокий конфликт между ними, который затянулся на столетия. Войны шли практически все время: 1492–1494, 1500–1503, 1512–1522, 1534–1536, 1558–1582, 1603–1606, 1607–1610, 1632–1634, 1654–1667 гг. и др. Даже в периоды затишья были столкновения в приграничных зонах. Авантюра с Лжедмитриями, приглашения на великое княжество русских царей можно также рассматривать как желание иметь «своего человека» в руководстве страны, который не будет заинтересован разорять «свою» территорию.

В сознании шляхты всегда активно жила мысль, что Москва — это враг номер один. Многочисленные территориальные, имущественные, людские потери активно подпитывали эту идею. Ее культивировали в различных панегириках, на ней воспитывали поколения⁴. Создание образа врага не способствовало плодотворному сотрудничеству. Такое же представление о Великом княжестве Литовском могло создаваться и в Москве. Конфликт существовал не только дипломатический, политический, вооруженный, но также ценностный, культурный, который затрагивал ментальность и самосознание. Он был гораздо шире, чем это показано в статье В. Г. Ананьева.

Ерусалимский К. Ю. (*Москва, Россия*). Я должен попросить прощения у организаторов и участников этой дискуссии за то, что формат моего рассуждения подчеркнуто эмоциональный. Статья г-на Ананьева производит неблагоприятное впечатление. Она содержит, на мой взгляд, случайные сравнения, обрывки мыслей и крайне схематичное представление о предмете обсуждения.

Коллеги, которые вовлечены «подвалами» В. Г. Ананьева в дискуссию, вряд ли обрадовались бы, как мне кажется, увидев лестные для себя ссылки. Например, статья А. И. Филюшкина посвящена восприятию Ливонской войны, а вовсе не изучению политической культуры Речи Посполитой или России.

Однако ни новой, ни уже давно обсуждаемой литературы, особенно польско-, литовско-, украинно-язычной, в статье нет. Г-ну Ананьеву, к сожалению, остались неизвестными работы А. Кемпинского⁵, Х. Виснера⁶, Э. Гудавичюса⁷, Н. Яковенко⁸,

³ См.: Шалькевич В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі на Беларусі. Мінск, 1999; Падокішын С.А. Філасофская думка эпохи Адраджэння ў Беларусі. Ад Францыска Скаріны да Сімёона Палацкага. Мінск, 1990; Tereškinas A. Imperfect Communities. Identity, Discourse and Nation in the Seventeenth Century Grand Duchy of Lithuania. Vilnius, 2005.

⁴ См.: Беларускія летапісы і кронікі. Мінск, 1997; Birkowski F. Jan Karol Chodkiewicz y Jan wojner, wielmożni waleczni, pobożni wojewodowie, pamięć pogrzebna. Kraków, 1627; Galecki M. A. Strzala wiecznej szczęśliwości kresu dopedzaiąca w wybornym biegu pobożnego życia Jasne Wielmożnego Jego Mości Pana Mikalai Krzysztofa z Chalca Chaleckiego, Wołewody Nowogrodskiego, Wołkinickiego, Lepuńskiego i w starosty. Wilna, 1654; и др.

⁵ Kępiński A. Lach i moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kraków, 1990. — Здесь и далее указываю только сами дискуссионные тексты, не упоминая возникших вокруг них научных обсуждений. Их рефлексы нетрудно обнаружить в справочной литературе и базах данных. Новейшие из названных исследований ждут дискуссий. Надо надеяться, коллеги примут в них участие.

⁶ Wisner H. Król i car. Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku. Warszawa, 1995.

⁷ Gudavičius E. Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999. Т. 1.

⁸ Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002.

Дискуссия

М.-Б. Топольской⁹, И. Грали¹⁰, М. Дмитриева¹¹, В. Гудзяка¹², М. Ледке¹³, К. Мазура¹⁴, М. Корзо¹⁵. Автор не считает нужным упомянуть монографии М. Бычковой¹⁶, замечательную и спорную статью И. Полосина про споры шляхты об опричнине¹⁷, исследования Б. Флори и дискуссию с ним Х. Люлевича о значении русского кандидата на польский трон¹⁸, не знает обсуждения статей и монографий Т. Хинчевской-Хеннель¹⁹ и А. Мончака²⁰.

В принципе, нет проблемы в том, что мы чего-то и кого-то не знаем. Проблема, разумеется, в том, что именно мы знаем в том, что мы знаем. Однако все названные авторы, похоже, далеки в своих компаративных поисках от того социологии и от той бинарной логики, без которой не обходится концепция г-на В. Г. Ананьева. Иначе говоря, сравниваемые в обсуждаемой работе идентичности вовсе не самодостаточны и — эту проблему я из соображений дискуссии форсирую в диаметрально противоположном направлении — вовсе даже не идентичности.

Если учебникам по истории нужны «Россия» и «Речь Посполитая» XVI или XVII в., то компаративному исследованию не должны быть чужды поиски, связанные с референциальными связями этих понятий и их импликациями. И начинать следовало бы с источников и «архивов», с устройства нашего знания о сравниваемом.

Мультиконфессиональность после Варшавской конфедерации — давно ясно, что это преувеличение. Да, событие знаковое. Но мультиконфессиональность отличала польско-литовскую унию и до Варшавской конфедерации. А после — она *de facto* не сказалась на политическом устройстве ни Короны Польской, ни Великого княжества Литовского. Православное духовенство не получило представительства в сенате иrade; в то же время конфессиональные свободы облегчили распространение католицизма в русских землях. Конфедерация была шагом не только к религиозным свободам, но и к конфессиональным реформам, которые угрожали их нивелированию.

Выводы автора о дихотомии Москва—Речь Посполитая заданы и плоски. Мысли о сравнении их политической культуры носятся в воздухе столько, сколько существует

⁹ Topolska M. B. Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku. Poznań; Zielona Góra, 2002.

¹⁰ Граля И. Дьяки и писари: Аппарат управления в Московском государстве и Великом княжестве Литовском (XVI – начало XVIII века) // От Древней Руси к России Нового времени: Сб. статей: К 70-летию Анны Леонидовны Хорошевской. М., 2003. С. 148–164.

¹¹ Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. М., 2003.

¹² Gudziak B. A. Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest. Cambridge, Mass., 2001.

¹³ Liedke M. Od prawosławia do katolicyzmu: Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok, 2004.

¹⁴ Mazur K. W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wołyńia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006.

¹⁵ Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII в.: Становление, эволюция и проблема заимствований. М., 2007.

¹⁶ Бычкова М. Е. Русское княжество и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г.: Опыт сравнительно-исторического изучения политического строя. М., 1996.

¹⁷ Полосин И. И. Социально-политическая история России XVI – начала XVII в.: Сб. статей. М., 1963. С. 156–181.

¹⁸ Lulewicz H. Gniewów o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1588. Warszawa, 2002.

¹⁹ Chyncewska-Hennel T. The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks from the End of the Sixteenth to the Mid-Seventeenth Century // Harvard Ukrainian Studies. 1986. Vol. 10. Nr. 3–4. P. 377–392.

²⁰ Mączak A. Jedyna i nieporównywalna? Kwestia odrębności Rzeczypospolitej w Europie XVI–XVII wieku // KN. 1993. Cz. 4. S. 121–136. — Работы Антония Мончака известны г-ну Ананьеву явно только из англоязычной литературы.

ствуют эти государства, и данная проблема имеет большую историографическую традицию. Можно было бы только приветствовать стремление редакции организовать обсуждение этой темы, готовясь к сомнениям и оговоркам, но статья г-на Ананьева на это не вдохновляет.

Вырский Д. (Киев, Украина). Позволю себе замечание о «язвительности» моего «отклика» и намеке на личностную реакцию. Считаю, что польза от заграничного корреспондента как раз в том, что ему легче высказываться «невзирая на личности», к тому же формат дискуссии «кукушка хвалит петуха за то (в надежде на то. — Д. В.), что хвалит он кукушку» мало кому интересен, кроме этих двоих. Без риторически конструированной «агрессивности» спор пресен.

Я не могу согласится с мнением В. А. Якубского, что «*русские политики недочтенили готовность поляков любой ценой не допустить внедрения Московии в Прибалтику*» (попахивает образом «тотальной войны», наследием XX, а отнюдь не XVI века), и высказыванием Н. Слиж, утверждающей, что «*в сознании шляхты всегда активно жила мысль, что Москва — это враг номер один*». Во-первых, тут постулирована удивительная однородность «шляхты»; во-вторых, в политике «всегда» — это совсем неадекватное слово; в-третьих, «враг номер один» — это также понятие весьма ситуационное. Приемлемым, и то лишь в случае Великого княжества Литовского, будет аутентичный термин «наследственный враг».